24 марта
1993 г.
№ 12 (5440)
Выходит по средам

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА ПИСАТЕЛЕЙ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1830 г. ПРИ УЧАСТИИ А. С. ПУШКИНА ИЗДАНИЕ ВОЗОБНОВЛЕНО В 1929 г.

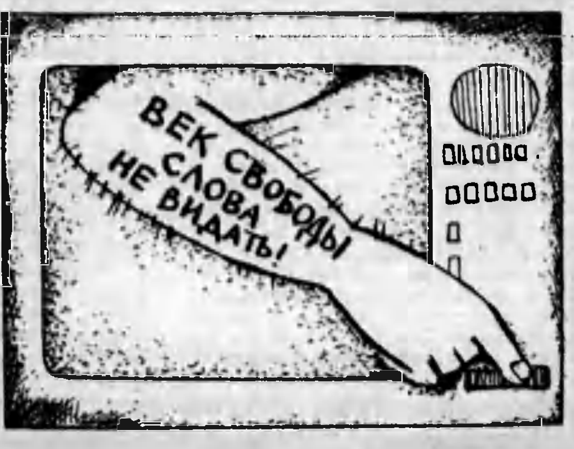
Цена в розницу свободная.

Егор Яковлев: вся правда о моей отставке стр.11

МАРК АЛДАНОВ О МАКСИМЕ ГОРЬКОМ: ИЗ ИКОНОБОРЦА ОН СТАЛ СОВЕТСКОЙ ИКОНОЙ стр.6

НОВЫЕ БОГАТЫЕ, НОВЫЕ БЕДНЫЕ В РОССИИ стр.13

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА И ОБЫЧНОГО МИЛЛИАРДЕРА ДЖОРДЖА СОРОСА стр.14



В НАЧАЛЕ НОМЕРА

Оппозиция у Белого дома слушала депутатов и глушила Би-би-си, на этот раз — кулаками.

Из рассказа корреспондента русской службы Би-би-си Григория НЕХОРОШЕВА:

— С девяти утра, как только я вытаскивал микрофон, чтобы записать у какого-нибудь участника интервью, обязательно появлялся человек, который начинал кричать: «Это Би-би-си, это жидовская пропаганда, это фашист — гоните его». Еще чуть-чуть, и я мог быть истоптан толпой. Но будучи наученным горьким опытом (у меня были стычки и столкновения), я успел выключить микрофон и «сделать ноги». Хотя странно, что товарищи демонстранты упустили свою выгоду — я ведь собирался спросить их мнение, чего они хотят. Но почему-то ко всем журналистам здесь относятся агрессивно.

Я точно знаю, что сегодня уже избили двух журналистов из американского телевидения и чуть не напали на корреспондента газеты «Сегодня». Но это, повторяю, для меня не ново. Такая же ситуация была 23 февраля. В тот день на моих глазах сильно били корреспондентов 5-го канала итальянского телевидения, били металлической подставкой, выхваченной у оператора. В тот же день тоже при мне повалили на землю и жестоко избивали двух телекорреспондентов немецкой телевизионной компании. Так что все это, видимо, входит в моду...

Что ж, нападения на журналистов можно назвать уже боевыми действиями агрессивной оппозиции. Продолжением политики, только другими средствами. Чьей политики? Известно — чьей. Тех, кто борется с прессой, используя для этого высокую парламентскую трибуну.

Там хотят заглушить свободу слова постановлениями и изменениями в Законе о печати. Здесь по-простому — кулаками.

А суть-то одна. И в том, и в другом случае — народу в лицо...

А. Г.

НЕДЕЛЯ В ЛИЦАХ

Анатолий ЛУКЬЯНОВ, спикер союзного парламента, обвиняемый по делу ГКЧП, державным шагом расхаживает по Белому дому на Краснопресненской набережной. Сегодня народные депутаты, которые в августе 91-го вместе с демократическими силами защищались от ГКЧП, сдались на милость узников «Матросской тишины» и выступают уже против того человека, что некогда, взобравшись на танк, возглавил сопротивление путчу.

Давно у нас, дорогие товарищи, не показывали по телевизору «Лебединое озеро»...

Александр ШОХИН, вице-премьер, был подвергнут критике спикером парламента за то, что в ходе работы чрезвычайной сессии ВС беседовал с журналистами. Смысл критики Руслана Имрановича заключался примерно в следующем: мол, завалил порученный участок работы, а теперь еще и разговаривает вслух.

Отсюда становится ясно, почему Руслан Имранович так не любит, когда кто-то из его коллег-депутатов подходит к микрофону.

Как известно, чрезвычайная сессия ВС под руководством Хасбулатова строила планы созвать съезд. Наверняка соберут — дело привычное.

Если бы на каждое обращение президента США к народу там собирали по съезду, они бы давно жили, как мы, — бедно, но интересно.

Константин ЛУБЕНЧЕНКО, генеральный директор Парламентского центра, в интервью еженедельнику «Россия» еще раз вспомнил, как Борис Ельцин предлагал ему пройти конкурс и возглавить службу безопасности России. Другим претендентом, оказывается, был генерал Стерлигов.

Не знаем, как Лубенченко, а народу в тот раз повезло...

Именем Конституции, сдавайтесь!

С этим девизом президент пошел на парламент. Парламент — на президента. Конституционный суд рассудил все без суда. А народ ничего не понял.

Лев ПОНОМАРЕВ:

— Мне понравилось выступление президента по телевидению. Выступление было исполнено глубокого смысла, и, я бы сказал, трагизма. Он понимает, какую ответственность на себя берет, и думаю, что жители России оценят это должным образом.

Дискуссии в этом зале бессмысленны. Потому что здесь берет верх корпоративный интерес, здесь они чувствуют свою силу. Но все это разговор с самим собой: сами с собой спорят, сами себя убеждают, но я не думаю, что это ключевым образом влияет на развитие событий. Достаточно нейтрально выступили силовые министры, премьер-министр. Думаю, что исполнительная власть поддерживает президента. Но при этом надо учитывать, что документа пока никто не видел. Поэтому важно, какой он будет. Но еще важнее — депутаты не понимают, что зачинщиком этой ссоры является съезд, который неоднократно нарушил Конституцию, не дав провести референдум по земле, не отменив 104-ю статью, что фактически также является нарушением основных принципов Конституции. Ведь если взять выступление на последнем съезде Рябова, то можно увидеть, что у них своя трактовка разделения властей: что на втором уровне — президент, Верховный Совет и Конституционный суд — есть разделение властей, а над ними стоит съезд, а на втором уровне — президент. Это бесспорно нарушение основных принципов Конституции, которым присягал Ельцин. Поэтому он имеет право говорить, что является гарантом конституционных основ государства, разделения властей, и действовать достаточно решительно. Именно этого ждут от него и население России, и демократические организации, которые я представляю.

Сергей БАБУРИН:

— Лицедей попал под дождь, который смыл краски с его физиономии. Теперь видно настоящее лицо, тщательно скрываемое под гримом. Вот и сейчас президентом сброшена шелуха, и его подлинное лицо — лицо человека, который не уважает и не соблюдает Конституцию, — стало видно большинству народа.

Так что ситуация хороша ясностью, но тревожна перспективой противостояния и схваток между разными политическими силами. Но время президента Ельцина ушло, и сегодня у него нет опоры. Честно говоря, я хотел бы не импичмента, а чтобы мы оказались верны Конституции и приняли решение о прекращении президентских полномочий Ельцина в соответствии со статьей 121.6. Это означает отрешение от должности в связи с грубейшими нарушениями Конституции, а если говорить точно — в связи с государственным переворотом, который он предпринял 20 марта.

Все ближайшие помощники президента заявляют, что он ничего не подписывал. Возникает вопрос: если президент ничего не подписывал, но выступил по телевидению и сказал, что подписал, то надо ставить вопрос о состоянии здоровья — отдает ли он отчет в том, что делает и говорит? И в связи с этим тоже надо отправлять его на покой. Даже если Ельцин просуществует в качестве президента несколько недель или месяцев, политически он уже сам себя уничтожил.

Все пойдет в соответствии с Конституцией: отрешение от должности, если пойдет по этому пути процесс, займет около месяца, очевидно. Придет исполняющий обязанности президента на место и повторит ту процедуру, которую и проделывали уже с Горбачевым.

Опыт есть.

Евгений КОЖОКИН:

— Ситуация сложилась драматическая, и прежде всего для демократических сил России. Потому что за каждое неточное, а тем более ошибочное выступление приходится расплачиваться всем нам. Вчера была совершена серьезная политическая ошибка. Политическая ошибка и с точки зрения конституционной, и с точки зрения реальной расстановки сил, реального обеспечения того указа, которого, кстати говоря, никто из нас не видел.

Сейчас мы понимаем, что произошло усиление Фронта национального спасения — недаром его лидеры сегодня в Белом доме смотрелись просто именинниками. Точно так же и другие противники демократического устройства России продумывают, как использовать этот ошибочный шаг, как усилить свои позиции, как продвинуться в сторону импичмента президенту.

Получилась коллизия, где есть сторонники и противники президента. На самом деле политическая карта намного сложнее. Есть люди, которые не отказались и не собираются отказываться от своих демократических убеждений, но считают, что в борьбе за демократию надо использовать другие методы, которые прежде всего должны соответствовать не только Конституции, но и определенным правовым традициям нашей страны. Невозможно строить демократию на чистого разума, опираясь только на зарубежный опыт и видя, что реалии собственной страны зарубежному опыту не соответствуют, говорить, что, значит, страна плохая. Нет, страна такая, какая она есть, и ее можно изменять в демократическом направлении отнюдь не путем революции — революции не порождают демократию, — а медленно, каждодневным тяжелым трудом.

С этой точки зрения у нас сегодня тяжелые дни, потому что мы видим, как часть наших единомышленников политических союзников не готова к

● ОКОНЧАНИЕ НА 2-Й СТР.

ЧИТАТЕЛЬ О ГАЗЕТЕ

Много лет выписываю вашу газету — я из того поколения «физиков», которые без «лирики» жить не могут. И потому с особым удовольствием читаю материалы на литературные темы. И не могу не высказаться по поводу статьи [illegible] «...на калина и чинара на ветру времени» (хотя обычно «откликов» в газеты не посылаю). Как мне кажется, автор здесь пытается сказать о главной болезни современного литературного процесса — чем награждаем тех, кого уже нет: памятью или забвением? К сожалению, в основном забвением. А на помост сегодня поднимаются молодые, совершенно бесталанные «таланты», наглые, самоуверенные от своей собственной необразованности и невоспитанности, косноязычно рассуждающие о предназначении великой литературы [illegible]кого русского народа. Но и я, и мои дети будем, как и прежде, читать В. Шукшина, и Н. Думбадзе, и десятки, а может быть, сотни других советских (прошу кавычки к слову советских не ставить!) писателей. Мы их имена, их книги не забыли, они в нашем сердце!

Ю. БАЙБАКОВ

НОВОСИБИРСК

Читать таких авторов, как Вячеслав Кондратьев, всегда интересно и поучительно. Конечно, русская и современная (советская) интеллигенция так же сложна и противоречива, как сама российская действительность. Может быть, она и есть ее зеркальное отражение. Но вот с чем я не могу согласиться, так это с обвинениями в ее безрелигиозности. Разве атеистичность, безрелигиозность — это порок? И разве путь к подлинной духовности лежит только через религиозность? Порядочным, честным, нравственным может быть и неверующий человек. Я убежден, что религия (любая) — это прошлое человечества. Справиться и решать сегодняшние и будущие проблемы человечества можно только с помощью просвещенного разума, научного мышления.

А. АНУЧКИН-ТИМОФЕЕВ

МОСКВА

На твоей первой странице всегда печатаются письма читателей, которые отзываются о материале предыдущей газеты (через номер), их заинтересовавшем. А я хочу написать тебе, что в последнее время ты вся мне очень нравишься! Выписываю я тебя всю жизнь и не могу сказать, что когда-нибудь ты была мне особенно противна. Была ты обычной, привычной газетой. Но что-то с тобою случилось в последнее время, я и сама не очень понимаю, не отдаю себе отчета, с каких пор. Постепенно ты уверенно набираешь обаяние, спокойствие, теплоту. Я, по перестроечной еще привычке, никак не отучусь выписывать разную разность. Но, ей же Богу, ни одна газета больше не выдерживает это особое благородство, интеллигентность и полное нежелание превращать жизнь в свалку.

М. РОМАНОВА

ХАРЬКОВ

ГРУЗИЯ — АБХАЗИЯ

С кем и за что воюют сыновья?

Фото Валерия ЯКОВА

ВНЕШЭКОНОМКООПЕРАЦИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНТЕРАГРО
Телефон: (095) 2631805, 2618288
Факс: (095) 2889579

К 125-летию со дня рождения А. М. Горького

Марк АЛДАНОВ:

Из иконоборца он стал советской иконой

На русском языке очерк М. А. Алданова «Воспоминания о Максиме Горьком (К пятилетию со дня его смерти)» печатается впервые по машинописному тексту с авторской правкой, хранящемуся в Российском фонде культуры.

ОБ ОДНОМ из деятелей Французской революции было сказано: «Он сделал слишком много добра для того, чтобы можно было говорить о нем худо; и он сделал слишком много зла для того, чтобы можно было говорить о нем хорошо». Эти слова следовало бы отнести к Максиму Горькому.

И как писатель, и как человек он имел большие достоинства. Быть может, литературный его талант был не так велик, как утверждали его неумеренные поклонники, особенно в начале и в конце его столь необычной карьеры. Но несправедливы и те, кто начисто этот талант отрицает. Отрицателей было много среди русских эмигрантов. Попадались они и в давние времена. К ним принадлежал сам Лев Толстой, никогда Горького всерьез не принимавший. В своем дневнике от 3 сентября 1903 года Толстой писал: «Горький — недоразумение», — и выражал удивление по тому поводу, что за границей тоже читают этого писателя.

Его действительно читали и даже изучали за границей. Ни одному русскому писателю мировая слава не досталась так легко и быстро, как Горькому. Сам Толстой, с которым его было бы просто смешно сравнивать в литературном отношении, добился всемирной известности лишь на седьмом десятке лет. Чехов, в России соперник, а по летам старший товарищ Горького, был почти неизвестен за границей до самой своей смерти. Между тем Горький стал мировой знаменитостью лет тридцати пяти от роду. В Германии, во Франции о нем уже в 1905 году вышло несколько книг. Его пьеса «На дне» шла два года безостановочно в одном из лучших театров Берлина, затем обошла все другие германские сцены. Она принесла бы ему целое состояние, если бы не одно случайное обстоятельство: его доверенным по получению гонорара от немецких театров был небезызвестный Парвус, в ту пору (1902—1904 годы) еще не бывший богатым человеком. Он очень весело растратил принадлежавшие Горькому большие деньги и столь же весело написал об этом уполномоченному Горького Пятницкому: «Истратил деньги на поездку по Италии с одной очаровательной дамой». Горький позднее сообщил об этом в печати — на одно устное его свидетельство я ссылаться не стал бы. Кстати сказать, этот незначительный эпизод довольно характерен для Горького. Он писал очень гневные страницы о «Желтом Дьяволе» (золоте) и о «городе Желтого Дьявола» (Нью-Йорке), однако в жизни он хорошо знал цену деньгам и умел отлично продавать свои книги и статьи. Он говорил, что «зарабатывает не меньше, чем Киплинг», и гордился этим: Киплинг в свое время — кажется, не вполне основательно — считался самым дорогим писателем в мире. Тем не менее, несмотря на ум, сметку и деловой инстинкт Горького, обмануть его было легко и обманывали его часто. Если бы его обманывали только в денежных делах!

Добавлю, что он был щедр и охотно давал свои деньги как частным просителям (их было великое множество), так и на разные политические дела. Из немецкого гонорара от «На дне» немалая часть должна была пойти германской социал-демократической партии и, вероятно, пошла бы, если бы не учиненная Парвусом растрата. Это тем более удивительно, что Горький германских социал-демократов недолюбливал. Он лично знал Бебеля, Зингера, Каутского и в одной из своих работ изобразил их в довольно пренебрежительном тоне. Соответственные рассказы о них слышал в свое время от него и я.

Я никогда не принадлежал к числу его друзей, да и разница в возрасте исключала большую близость. Однако я знал Горького довольно хорошо и в один период жизни (1916—1918 годы) видал его часто. До революции я встречался с ним исключительно в его доме (в Петербурге). В 1917 году к этому присоединились еще встречи в разных комиссиях по вопросам культуры.

ФЛОБЕР оставил пишущим людям завет: «Жить как буржуа и думать как полубог!» Горький и до революции, и после нее жил вполне «буржуазно» и даже широко. Если не ошибаюсь, у него за столом чуть не ежедневно собирались ближайшие друзья. Иногда он устраивал и настоящие «обеды» человек на десять или пятнадцать. До 1917 года мне было и интересно, и приятно посещать его гостеприимную квартиру на Кронверкском проспекте. Горький был чрезвычайно любезным хозяином. Он очень любил все радости жизни. Любил, в частности, хорошее вино (хотя «пьяницей» никогда не был). После нескольких бокалов вина он становился особенно мил и весел. Слушал охотно других, сияя улыбкой (улыбка у него была детская и чрезвычайно привлекательная). Еще охотнее говорил сам. Видел он на своем веку очень много и рассказывал о виденном очень хорошо и занимательно. Правда, к сожалению, как большинство хороших рассказчиков, он повторялся. Так, его любимый рассказ о каком-то татарине, которого он когда-то хотел освободить из тюрьмы, я слышал — в одних и тех же выражениях — раза два или три. Татарина надо было будто бы для освобождения обратить в православие, и для этого он, Горький, ездил к влиятельным и компетентным особам — о встречах с ними он и рассказывал. Составлен рассказ был очень живописно, но все ли в нем было строго точно — не знаю. Немного сомневаюсь, чтобы человека можно было освободить из тюрьмы в награду за крещение. Вероятно, для живописности Горький кое-что приукрашивал.

Другой любимый его рассказ был о Нью-Йорке. Этот рассказ был неинтересен. Горький годами живал за границей, но ни одного иностранного языка он не знал и, по-видимому, Западной Европы и Америки не понимал совершенно. Маленькая подробность. В той самой работе, о которой я упомянул выше, он, описывая обед, на котором встретился с Бебелем, Зингером и Каутским, сообщает, что они все произносили слово «Mahlzeit». Этого общеупотребительного в Германии приветствия Горький не знал и перевел себе его по-своему: «Mal» по-французски значит «худо», «Zeit» по-немецки значит «время». Очевидно, Бебель и Зингер в виде приветствия говорили друг другу: «Какие худые времена!»

Столь же верны бывали и его другие суждения об европейских и американских делах. Все это был сплошной «Mal-Zeit». Очерки, написанные им об Америке в 1907 году, просто совестно читать: до того это безвкусно, нехудожественно и просто неверно. Чтобы не быть голословным, приведу лишь одну цитату из «Города Желтого Дьявола» с описанием Нью-Йорка и ньюйоркцев:

«Люди кончили работу дня и, — не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она для них, — быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги, — это видно по глазам, — уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего: если есть работа — будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью, — кроме этого, ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола. Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая, свежая пища... Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блестит улыбки».

Это — Нью-Йорк! Горький уверял, что сам видел в Нью-Йорке, как дети дерутся «за корку загнившего хлеба»: «она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки». Бог ему судья: может быть, он где-нибудь что-нибудь такое и видел (думаю, что увидеть это в СССР было бы все-таки несколько легче). Он с особым удовольствием рассказывал об ужасах Нью-Йорка и почему-то в особенности Кони-Айленда. Горький об американской культуре судил по кони-айлендским балаганам. И были в его рассказах те же выражения, какими обильно и нестерпимо переполнены его американские очерки: «музыка нищих для забавы рабов», «белокожие дикари», «ад, сделанный из папье-маше», «нищие города-чудовища», «дети, жалкие цветы нищеты», «теплая рука тоски» и т. п.

РАССКАЗЫ его о России были неизмеримо интереснее и правдивей. Кроме природного ума и наблюдательности, у Горького был очень большой жизненный опыт. Русские низы он знал превосходно: он побывал в жизни сапожным подмастерьем, служил в посудной лавке, в лавке икон, был булочником, дворником, ночным сторожем, хористом, не знаю, чем еще. Впоследствии у него появились немалые связи в высшей русской буржуазии и даже отчасти в аристократических кругах. Надо ли говорить, что он прекрасно знал литературные круги: тут его знакомства шли от «подмаксимок» (так называли когда-то его учеников и подражателей) до Льва Толстого. Из интеллигенции, связанной преимущественно с политикой, он хорошо знал социал-демократов. Помню его рассказ — поистине превосходный и художественный — о лондонском социал-демократическом съезде 1907 года, краткие характеристики главных его участников. Не могу сказать, чтобы эти характеристики были благожелательны. Горький недолюбливал Плеханова, которого считал барином, чтобы не сказать — снобом. Недолюбливал и других меньшевиков. Кажется, из всех участников съезда он очень высоко ставил только Ленина. Но зато о Ленине он — повторяю, задолго до своего окончательного перехода к большевикам — отзывался с настоящим восторгом. Он его обожал.

После революции, особенно после октябрьского переворота, посещение дома Горького всегда было связано с некоторым риском. Как помнят, вероятно, читатели, Горький до осени 1918 года занимал резко антибольшевистскую позицию. Он принимал ближайшее участие в руководстве враждебной большевикам газетой «Новая жизнь». Тем не менее его положение — я мог бы сказать: его светское положение — было совсем особое. Со времени прихода большевиков к власти личные отношения между ними и антибольшевиками почти прекратились. Большинство людей антибольшевистского лагеря порвало личные отношения со сторонниками Ленина еще значительно раньше, со дня его приезда в Петербург. Оглядываясь на прошлое, я даже не представляю себе, в каких частных домах могли бы тогда бывать и большевики, и их противники. Единственное исключение составляла квартира Максима Горького: у него бывали и те, и другие — случалось, бывали одновременно. Он был, вероятно, единственным человеком в Петербурге, который мог себе позволить подобный политический коктейль. Он себе его и позволял — неизвестно зачем: такие встречи не могли доставлять удовольствия ни той, ни другой стороне. Вероятно, это его забавляло. Не знаю, что он говорил об антибольшевиках, когда их в доме не было. Но в отсутствие коммунистов он об их вождях, за одним-единственным исключением, отзывался самым ужасающим образом — только разве что не употреблял непечатных слов (он их не любил). Особенно он поносил Зиновьева и зиновьевцев (разумеется, ошибочно приписывать это антисемитизму: по этой части Горький был совершенно безупречен всю жизнь).

Исключением был тот же Ленин.

Я думаю, что влияние Ленина сыграло решающую роль во всей жизни Максима Горького, «Великий революционный писатель», как под конец его дней его называли в СССР, был по природе слабохарактерным человеком. Вдобавок ему, как большинству русских самоучек, была присуща погоня за «самым последним», за «самым левым». На своем колеблющемся жизненном пути он в 1907 году в Лондоне встретил очень сильную личность. Ленин возглавлял левое, большевистское крыло самой левой партии — чего же можно было желать лучше!

Ленин ни в грош не ставил Горького как политического деятеля. Но Максим Горький был для него находкой, быть может, лучшей находкой всей его жизни. Горький был знаменитый писатель, и слава его не могла не отразиться на партии. Он открывал или по крайней мере облегчал большевикам доступ в легальные журналы, в издательства. У него были большие связи среди богатых людей, дававших деньги на разные политические дела. Я не хочу сказать, что Ленин сблизился с Горьким только в интересах партии. Из напечатанных писем его к Горькому видно, что он чувствовал к нему и личную симпатию, интересовался его здоровьем*, его планами. Однако политические идеи Горького у него ни малейшего интереса не вызывали.

Они порою расходились. Так, они разошлись в 1917 году. Примирение последовало лишь осенью 1918 года: после покушения Доры Каплан Горький счел нужным сделать визит раненому Ленину. Между ними произошло объяснение: вероятно, это был просто разнос со стороны диктатора. Он произвел соответствующее действие.

У меня нет материалов для суждения об их дальнейших взаимоотношениях. Горький был добрый или по крайней мере не злой человек, очень падкий на слезы и не отказывавший в помощи людям, которых он не любил. В пору жестокого террора, последовавшего за убийством Урицкого и за покушением на Ленина, он сделал немало добра. И позднее, помирившись с Лениным, окончательно отказавшись от какой бы то ни было самостоятельности в мыслях (не говоря уже об оппозиции), он нередко обращался к Ленину с ходатайством о смягчении участи того или иного «контрреволюционера». Обычно Ленин ему в этих небольших одолжениях не отказывал, если «контрреволюционер» был не очень значителен. Случалось, однако, что распоряжение Ленина «опаздывало»: чека расстреливала людей до получения соответствующей бумаги. Было ли это саботажем со стороны Чрезвычайной Комиссии, и если да, то производился ли саботаж с негласного благословения самого диктатора, — этого мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем.

По-видимому, Ленину очень хотелось, чтобы Горький поскорее уехал за границу. Так оно и вышло. Собственно, покорившись окончательно партии, Горький мог ей пригодиться. Он мог бы, например, быть «президентом республики»: во всяком случае, он был во многих отношениях пригоднее и во всех отношениях декоративнее Калинина. Для общественного мнения Западной Европы и Америки такой президент был бы совсем хорош. Однако Ленин ему подобного поста никогда и не предлагал. Это могло бы объясняться остатками разногласий или воспоминаниями о разногласиях. Но не предложил ему высокой должности и Сталин после того, как Горький вернулся из Италии в СССР, после того, как он в 1929 году окончательно, «на все сто процентов», принял советский строй, включая и личный культ нового диктатора, и массовые расстрелы, и концентрационные лагеря, которые он посещал в качестве благосклонного либерального сановника в сопровождении видных чекистов. То, что Горькому высоких постов все-таки не предложили, свидетельствует, конечно, в его пользу.

Я В ПОСЛЕДНИЙ раз видел его в июле 1918 года. Это был именно «обед» — и обед, оказавшийся весьма неприятным. Горький позвонил мне по телефону: «Приходите, есть разговор». Я пришел. Никакого «разговора», то есть никакого дела у него ко мне не было. Вместо этого нас позвали к столу. Обед был, конечно, не очень роскошный, но по тем временам отличный: в Петербурге начинался голод, белого хлеба давным-давно не было; главным лакомством уже была конина. В хозяйстве Горького еще все было в надлежащем количестве и надлежащего качества. Гостей было немного; в большинстве это были люди, постоянно находившиеся в доме Горького, так сказать, состоявшие при нем. Однако были и незнакомые мне лица: очень красивая дама, оказавшаяся за столом моей соседкой, и ее муж, высокий, представительный человек, посаженный по другую сторону стола.

Встреча эта была весьма необычной, и я бы мог приберечь напоследок маленький эффект. Предпочитаю, однако, сказать сразу, что это были госпожа Коллонтай (впоследствии занявшая пост советского посла в Стокгольме) и «матрос» Дыбенко. Познакомили нас, как обычно знакомят: имена были названы невнятной скороговоркой, и я, по крайней мере почти до конца обеда, не знал, с кем сижу за столом. Говорили о разных предметах. Моя элегантная соседка оказалась милой и занимательной собеседницей. В ту пору в Петербурге везде предметом бесед было происшедшее незадолго до того в Екатеринбурге убийство царской семьи. Говорили об этом кровавом деле и за столом у Горького. Должен сказать, что там говорили о нем совершенно так же, как в других местах: все возмущались, в том числе и Горький, и госпожа Коллонтай: «какое бессмысленное зверство!» Затем беседа перешла на Балтийский флот и на адмирала Щастного, о котором тогда было тоже много разговоров. И вдруг из фразы, вскользь сказанной сидевшим против меня человеком, выяснилось, к полному моему изумлению, что это «матрос» Дыбенко!

Я ставлю в кавычки слово «матрос». В Петербурге все считали Дыбенко настоящим матросом, без кавычек. Брак его с госпожой Коллонтай вызвал толки и в связи с этим: она по рождению и по первому браку принадлежала если не к высшему, то к довольно высокому военно-бюрократическому обществу царского времени. Я в тот день видел Дыбенко в первый — и в последний — раз в жизни. Как ни поверхностны были мои впечатления от него, очень сомневаюсь, чтобы он был действительно матросом: ни внешним обликом своим, ни костюмом, ни манерами он нисколько не выделялся на общем фоне бывавших у Горького людей. Мысли за столом он высказывал отнюдь не революционные, а весьма умеренные (это был, по-видимому, период его очередной размолвки с правящими кругами). Между тем само имя его в связи с разными событиями революции тогда вызывало ужас и отвращение почти у всей интеллигенции. Только Горький мог пригласить враждебного большевикам человека на обед с Дыбенко, не предупредив об этом приглашаемого!

Обед уже подходил к концу. Помню, Горького позвали к телефону. Я вышел вслед за ним и попросил его передать привет хозяйке дома (артистке М. Ф. Андреевой). Мне оставалось уйти, не простившись с этими гостями. Я так и сделал. Больше меня Горький к себе не звал, да если бы и позвал, то я не мог бы принять приглашение: через каких-либо два месяца после этого обеда он закончил свою ссору с большевиками — у них начинался период долгой (не скажу, безоблачной) дружбы. Она привела к полной капитуляции Горького и через несколько лет к окончательному его переходу на роль состоящего при «вожде народов» официального писателя. Его именем стали называться города, улицы, заводы, аэропланы. Писал он и говорил то, что при такой роли полагалось писать и говорить. Из прежнего иконоборца он стал советской иконой.

* Так, однажды, узнав, что Горький предполагает лечиться у врача, принадлежащего к большевистской партии, Ленин ему написал: «Известие о том, что Вас лечит новым способом «большевик», хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности!»

**Подготовка текста и публикация доктора филологических наук
Андрея ЧЕРНЫШЕВА**

«Велика была слава и велико одиночество»

Из дневников Александра Афиногенова

Ценнейшую часть литературного наследия А. Н. Афиногенова (1904—1941) составляют его дневники, до сих пор полностью не опубликованные. Он вел их начиная с 1926 года. Содержание этих дневников чрезвычайно разнообразно. Нашла в них отражение и фигура А. М. Горького.

Впервые Афиногенов встретился с Горьким 23 марта 1932 года в Сорренто, где провел три недели во время своей заграничной поездки. В архиве Афиногенова сохранился дневник, где он записывал содержание бесед с Горьким, сохранились также его письма к матери, А. В. Афиногеновой, написанные из Сорренто, по которым ясно, какое сильное впечатление произвела на Афиногенова эта встреча. По возвращении в Москву на материале дневников он написал очерк «В Сорренто», опубликованный в журнале «Красная новь» (№ 9, 1932). Отрывки из дневника 1932 года неоднократно публиковались в книгах Афиногенова.

После встречи в Италии началась переписка Афиногенова с Горьким. Драматург посылал ему на отзыв свои пьесы «Ложь», «Портрет». И каждый раз получал от Горького подробные, нелицеприятные рецензии, творческие советы. Для Афиногенова смерть Горького была тяжелой утратой, он неоднократно посещал дачу в Горках, где тяжело болел Алексей Максимович, участвовал в перевозке тела Горького в Колонный зал Дома союзов.

В записях Афиногенова говорится о Третьем международном шахматном турнире, проходившем в Москве в Колонном зале с 14 мая по 8 июня. Афиногенов упоминает близких Горькому лиц: О. Д. Черткову — домашнюю медсестру (Липа), художника И. Н. Ракицкого (Соловей), М. И. Будберг (Мура) — бывшего секретаря и близкого друга, приехавшую из Лондона, сноху Н. А. Пешкову (Тимоша). Афиногенов неточно написал фамилию И. П. Ладыжникова («Лажечников»), давнего друга Горького, крупного издательского работника. Упоминает он известного патофизиолога А. Д. Сперанского, наркома здравоохранения Г. Н. Каминского, жену писателя Всеволода Иванова Т. В. Иванову (Тамара) и К. В. Паукера — начальника оперативного отдела НКВД.

Отрывки дневника 1936 года, предлагаемые читателю, публикуются впервые, за исключением записи от 16 июня.

9/VI

Горький борется за жизнь отчаянно, теряет сознание, вновь возвращается в жизнь, пульс 137, увеличиваются подшей докторов под бюллетенем. Сначала бюллетень назывался «Здоровье Горького», теперь — «Болезнь Горького». Вечером распространился слух, что он уже умер. Но толпа перед шахматным турниром этого не знала, гудели голоса, когда вестник прикладывал трафарет с цифрой к доске с результатами — вестник нарочно объявлял сначала мелкие результаты, потом уже приложил Капабланке 13 очков, толпа гудит — значит, Капабланка чемпион, Ботвинник — 12 — отстал на целое очко (это как раз его проигрыш Капабланке). Не знают ничего в кафе, танцуют молодые люди, девушки в коротких жакетках со странными взглядами, все столики заняты, пробиваются знакомые фигуры — приходят поэты, художники, немножко, как на Западе, сидеть в дыму и свете, слушать джаз, пить рюмочками и смотреть на танцы...

10/VI

Будущий биограф Горького занесет ночь 8 июня в список очередных чудес горьковской биографии. В эту ночь Горький умирал. Сперанский уже ехал на вскрытие. Пульс лихорадил, старик дышал уже с перебоями, нос синел. К нему приехали проститься Сталин и члены Политбюро. Вошли к старику, к нему уже никого не пускали, и этот приход поразил его неожиданностью. Очевидно, сразу мелькнула мысль — пришли проститься. И тут старик приподнялся, сел на постели и начал говорить. Он говорил 15 минут о своей будущей работе, о своих творческих планах, потом опять лег и заснул и сразу стал лучше дышать, пульс стал хорошего наполнения, [illegible] ему полегчало. Сперанский схватился за голову от виденного чуда. Так, вероятно, Христос сказал Лазарю: «Встань и ходи». Сперанский объясняет это [illegible] в ту часть коры головного мозга, которая ведает дыханием и сердцем, и шок этот оказался благотворным.

18/VI

Сначала дождливое ветреное утро, потом солнце, потом опять ветер и дождь, но сейчас тепло и все это согревается [illegible] и хочется сидеть у окна, смотреть на колокольню за лесом, на белую палатку лагеря, оттуда по вечерам слышны татарские мелодии, поют заключенные.

Рабочие колотят забор, носят бревна, идут со станции люди, протаптывают новую тропинку — прежняя загорожена забором, тропинка бежит вниз, к избушке с красной крышей... люди ходят, говорят, поют, смеются... Потом внизу появляется вестник — «Горький умер», надо что-то писать, ехать, делать.

В Москву по грязным колеям местного шоссе — там толпятся писатели, делающие хмурые лица. Пильняк, слегка выпивши: «Меня от обеда оторвали — к чему? Поеду обедать дальше».

Потом обратно в Горки — зеленый забор, стоят молчаливые молодые люди, добрые — кто такие... Куда-то ушли звонить. Ворота открываются, за воротами теснятся репортеры, спрятавшиеся в кустах.

Человек с киноаппаратом бежит на нас, снимает, и поворачивается, забегает, трещит пленка в аппарате.

И самый дом — молчание. Вот-вот услышишь чей-то плач, истерику, нет — все очень спокойно. Самые нервные мы, приехавшие сюда.

А в доме идет подготовка тела — техника смерти убивает слезы, слишком много забот, чтобы плакать.

Липа улыбается, рассказывает о последних минутах, все передают подробности, какие кто знает. Наверх не пускают, там орудуют хирурги, иногда проходит деловито ассистент. Официант в белом кителе накрывает стол. Стол накрыт на много персон — люди будут ужинать, даже вино здесь. И слезы, готовые вырваться, высыхают, не успев показаться на глаза.

Прислуга — шоферы у гаража — шутит, смеется, передает истории, им просто любопытно, большой съезд, и кто-то еще приедет.

Сперанский вошел, заговорил громко, для него смерть — профессия, привычка, начал говорить, смеется, разводит руками: «Легкие — труха, а сердце прекрасное. И мозг прекрасный, вот подите же...» Тамаре: «Ну, как ваше дите? Я своего забираю через два-три дня». Поговорил, посмеялся, пошутил, вышел.

Вошел другой, поспешно поздоровался, курит, я спать поеду — пора. Это люди особые, они, как судьи, привыкшие видеть преступников, как командиры, видящие тысячи солдат, смерть — их профессия, делали все, чтобы отдалить ее, не вышло, увы — не во всем властны, а впрочем, мы давно говорили, что не выйдет ничего, нам не верили, все надеялись, а на что?

Этого они не говорят, это подразумевается в их репликах, потом они вообще устали и хотят спать, они за последние сутки дали ему 256 подушек кислороду — по конвейеру.

На аэроплане из Любека привезли аппарат для вдыхания кислорода — оказалось, это для оказания первой помощи утопшим. Не то. Он дышал прямо из подушки.

Вошел маленький вертлявый анатом в черном пиджачке, коротком, и белых брюках, галстук бабочкой, очки, птичья лысая голова, жует передней челюстью, с ним загорелая его ассистентка и любовница, верно, он гладит ее плотоядно, они зашивали тело и работали по бальзамированию, наверху гудел, как самовар, аппарат, накачивал формалин. «Птичья голова» рассказывает и закусывает: «Она (ассистентка) только утром из Крыма приехала, и сразу, пожалуйте, в работу, мы бы все в полчаса кончили, да людей много кругом возится».

Что будет с этим большим домом? В нем мы последний раз — тут будут жить другие люди, конечно, не сразу, не сейчас, но потом выяснится, что семьи оставшейся очень мало — остальные ведь жили около Горького, для него или подкармливались им. Живет Лажечников, что ли, худой старичок, ест быстро, костлявыми пальцами ломает хлеб, расспрашивает докторов и рассказывает сам, ходит, качает головой.

Соловей ходит задумчиво — двадцать лет назад он пришел к Горькому поговорить, переночевал и остался у него на всю жизнь.

Сидит постаревшая, опустившаяся Мура. Она тоже была здесь и завтра, наверное, улетит, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. А пока из разных комнат вдруг выходят люди к столу, садятся, едят, говорят о постороннем, потом снова расходятся по разным комнатам, комнат здесь очень много, и никто в них не живет, хотя везде разбросаны вещи, в одной навалены воротнички, лежат брошенные пиджаки — это выбирали последнюю одежду для одевания.

Тело одевают теперь, наверх все еще не пускают, в угловой комнате передают по телефону тексты <для> надгробных венков, ходит какая-то вертлявая чернавка, пристает к Каминскому, о чем-то просит о своем, тот слушает ее, сидит у стола, ковыряет вилкой неохотно, отвечает сквозь зубы — ему не до нее, и все равно он не исполнит просьбы.

Люди ходят по коридорам, иные снуют деловито наверх — там идет последнее одевание, иные ходят в ожидании.

Уже подана карета с красным крестом к крыльцу, санитары принесли наверх носилки, наконец можно подняться по лестнице и ждать у столовой.

Отворяется дверь кабинета, бывшего спальней, выносят тело. Он помолодел, похудел, стал меньшим в размерах. Руки, лицо — мертвый цвет, лицо налито формалином. Тимоша поправляет руки, кто-то приглаживает волосы. Стоят вокруг стола, смотрят. Паукер мигает — пора выносить, в Москве уже готов Колонный зал — последнее прощание, подходят работавшие в доме истопники, подавальщицы, садовники, дворники, целуют мертвую руку, но нельзя сосредоточиться мыслью на нем, слишком много суетни кругом — тут вспомнишь о торжественности панихиды — один запах ладана уже отбивает посторонние мысли, поют заупокойную — и мысли о смерти, а тут, как в «Смерти Ивана Ильича», хлопоты, заботы, людские интересы, это поражает неопытного провинциала, он думал, здесь неизгладимая печаль — нет, конечно, лица вытянулись, но домашние уже свыклись, они пять раз ожидали смерти за эти дни, а посторонним слишком много других забот, чтобы предаваться горю. Да и одинок был он — не разрывается от горя сердце друга около его последней постели — велика была слава и велико одиночество.

Подняты носилки, несем вниз по лестнице, я держу носилки, голова его совсем близко, и здесь проходит страх, обуревавший прежде, когда люди целовали мертвую руку. Мертвую. А теперь мог бы поднять и поправить и погладить сам мертвую голову. Не надо бояться мертвых — вот уж подлинно золотые слова.

Носилки ставятся в карету, садятся санитары, захлопнута дверца — трогаются в темноте машины на Москву, вытягивается последний кортеж, сверкают фары машин, выезжаем на шоссе. Идет гулянье в деревне, звонкий детский голос кричит: «Максима Горького повезли!».

Фонари пугают парочки, парочки стоят, обнявшись, считают, сколько проходит мимо больших красивых машин, почему впереди карета, — и опять гуляют, поют, звенят голоса, гармошки. Потом московские огни, улицы, заворот в переулок — в Колонном зале суетня, бегают люди, носят цветы — в отдельной комнате перекладывают тело в гроб, гроб несут на постамент — новая суетня, здесь уже совсем не подумаешь о том, что Горького больше нет, и родственники стоят маленькой кучкой, растерянные, все уже очень устали, всем хочется отдохнуть, завтра с утра начинается церемониал процессий. Тело уже не принадлежит близким, оно отдано большему, тут даже и плакать стыдно...

А утром церемонии развода почетного караула, путаница с делегациями и списками, площади оцеплены на километр кругом — это путает все городское движение, жарко, народ сердится, но очередь уже тянется по всей Дмитровке, огибает по Страстному бульвару на улицу Горького — идут люди, несут детей, молоденькие лица, любопытство, почтение, очень редко старые женщины подносят платок к глазам. «Нет такого слабого человека, у которого не хватило бы силы вынести чужое горе».

**Публикацию подготовили
К. Н. КИРИЛЕНКО
и В. П. КОРШУНОВА**